

Исследователь в городе: от всевластия взгляда к столкновению с Другим¹

Артём Космарский

Этот текст повествует о прогулках по вполне определенному городу. Но я начну его с помещения предпосылок своего опыта в (общезначимое) пространство исследовательских позиций, приемлемых в рамках современной парадигмы Urban Studies. Это не методы, но именно позиции – я не стремлюсь увидеть их воспроизведенными или использованными в чужих текстах и хочу лишь обозначить на карте возможного.

Первое: попадая в чужой город, я сознательно перевожу себя в режим тотальной чувствительности к окружающему. Не веря в возможность «чистого», «незамутненного» первого взгляда, делаю ставку на другую крайность – набираю и ношу в голове как можно больше нарративов местных жителей и туристов; исторических фактов и теоретических концептов – верчу и кручу их в ритме моих шагов, перемешиваю и разламываю; сталкиваю их со спонтанными реакциями тела на город – и таким способом пытаюсь избежать захваченности ими, которая проявляется в безоговорочных вердиктах по поводу увиденного.

Второе: я ни на минуту не забываю не столько себя, сколько силы и структуры, делающие возможным мое присутствие в этом городе (Ташкент, 2004 г.): институции, пославшие меня сюда², наделившие легитимным правом говорить об этом месте в качестве востоковеда и ожидающие от меня определенных речей и текстов по возвращении в Москву³. Отправная точка: я во власти ориенталистского⁴ дискурса, безымянного, обволакивающего, – и пытаюсь освободиться через локализацию его в чужих текстах, вписывание себя в одну из традиций, игры с его тропами – так, чтобы возникла возможность критического дистанцирования. Разумеется, я подвластен не одному лишь ориентализму; как минимум, имеют значение еще гендерные и классовые идеологии. Но я решил бороться, в собственном тексте, с тем, что кажется мне наиболее

¹ Первоначальный вариант данного текста был опубликован, под названием «Москвич в Ташкенте», в электронном литературном журнале «Девушка с веслом» (№2. 2005).

² Институт стран Азии и Африки МГУ, вообще академическое российское востоковедение.

³ Автор, чужой Востоку, но побывавший *там*, представляет Восток читателям – «своим». Ср.: «В основании ориентализма лежит взгляд извне [exteriority – *A. K.*]: ориенталист, поэт или ученый, размыкает Востоку уста, описывает его, раскрывает его тайны Западу» (*Said E. Orientalism. N.-Y., 1978. P. 20-21*). Поэтому мне выгодно, например, подчеркивать «восточный» и замалчивать «постсоветский» характер города, то, что роднит его с Москвой (привычная инфраструктура, отсутствие языкового барьера) – иначе какой резон посылать сюда именно меня?

⁴ Ориентализм здесь понимается как мощный, почти естественный, но, сейчас, морально недопустимый (и зачастую интеллектуально непродуктивный) способ представления Западу стран и культур Азии и Африки. Он проявляется, например, в трактовке описываемых явлений как манифестаций некой исконной сущности Востока – чувственности, деспотизма, близости к природе и пр.; в эротизации, демонизации, экзотизации Востока; и в возвышении фигуры пишущего, как единственного имеющего право производить авторитетные истины о Востоке. Работа, положившая начало современной критике этого явления – упомянутый выше «Ориентализм» Эдварда Саида

собственном тексте, с тем, что кажется мне наиболее значимым и опасным; право выдвигать иные обвинения я оставляю критически настроенным читателям.

Впрочем, моя задача облегчается тем, что принадлежность Ташкента к «Востоку» (а не к «своему», постсоветскому пространству) зиждется на весьма хрупких умозрительных конструкциях: в этой стране говорят на узбекском – тюркском – языке, а я учусь на кафедре тюркской филологии; здесь исповедуют ислам, и по соседству с Ташкентом находятся Бухара и Самарканд, города, как известно из истории, входящие в *дар уль-ислам* – мусульманскую ойкумену, и т.п.

Сам же город не атакует разом все пять чувств (пылью, вонью, гамом туземцев, карнавальностью яркости одежды и кухни) и, следовательно, не провоцирует на афористическую контратаку в духе И. Бродского¹ («черноглазая, зарастающая к вечеру трехдневной щетиной часть света», «мечети... застывшие каменные жабы») или на фиксацию тончайших визуальных впечатлений от потока живописных одеяний и обычаев, как это делал в 1852 году Т. Готье². «Восток» здесь не повсеместен и неясен, что одаривает меня лишней возможностью избегать окончательных определений природы этого места. Я был особенно внимательным к неопределенности и проблематичности города; к разного рода силам в его пространстве, которые пытаются подчинить его четким прилагательным (национальный, исламский, постсоветский, капиталистический и т.п.).

Третье: я бродил по городу один, что позволило полностью отдаться энергоемким процессам «вчувствования» и «рефлексивности». Я не искал контактов или приключений, но те городские интеракции, в которых я все-таки участвовал, воспринимались столь остро, что приобрели свойства эпичности. Сквозь них мгновенно, вспышкой, просвечивали значимые структуры; события существуют в «эпическом», поучающем прошлом, в неотменяемой последовательности, открытые дальнейшему обогащению смыслами. Отсюда выбор определенного маршрута как цементирующей данный текст конструкции.

Итак: осознание собственных диспозиций; чувствительность к знакам города; нагруженность текстами о городе; «сюжетность» всего происходящего между исследователем и городом³.

Четвертое. Обозначу свою позицию в этом тексте так: ученый *как* турист. От ученого берется презрение к необходимости утверждать аутентичность/героичность собственного опыта *там* ярким стилем и увлекательными историями; от туриста – отказ от вескости, авторитетности, объективности суждений «знатока предмета».

Пятое. *Изображение* действительности, передачу яркости и полноты жизни – всё это я отдаю фотоаппарату⁴ (себе же оставляю моментальные схемки, переключки, отсылки). Сходным образом ссылки на картины французских художников-ориенталистов Декана, Марилья, Делакура в тексте Готье укрепляют «эффект реальности» увиденного автором.

¹ Бродский И. Путешествие в Стамбул. (http://lib.ru/BRODSKIJ/br_istambul.txt).

² Готье Т. Путешествие на Восток. М., 2000.

³ Ср.: «Пока этнограф находится в поле, все, что он или она делает и переживает, превращается в данные. Даже самое ничтожное событие, происходящее с ним/ней – это источник информации, который он/она обязаны осмыслить, используя свои исследовательские способности» (Hastrup K. Writing Ethnography: State of the Art // Anthropology and Autobiography. Ed. by Judith Okely and Helen Callaway. L., 1992. P. 117.).

⁴ К сожалению, по техническим причинам в данной работе приведен лишь необходимый минимум иллюстраций; более полно фотографии представлены по адресу <http://www.urbstashkent.narod.ru>.

Впрочем, если французский литератор апеллирует к мощным читательским стереотипам восприятия ближневосточного мира, то мой «визуальный ряд» призван оспорить авторитетность моих интерпретаций и дать большую свободу вашим.

Шестое: путешествие в город началось с изучения карты. Меня привлекал удачная концентрация разноцветных и разностильных объектов (проспект, парк, значки культуры и старины, а через дорогу извилистые линии старых кварталов, и даже крестики кладбищ – и всё в удачной близости от метро).



Изначально мое существование в городе (было) задано пространством, которое я условно назову «туристическим»: оно требует зрелищной функциональности ото всех попавших в его границы объектов; оно однородно, не принимает закрытых, запретных, непредсказуемых зон или же пытается их приручить, коммодифицировать¹. Равнозначность и равнодоступность мест, способность планировать, поиск просчитанных эффектов, безмятежность моей идентичности – все эти следствия «взгляда сверху» могут и не оставлять исследователя, когда тот свертывает карту или спускается с небоскреба в уличную суету. Напротив, не всякая (провокационная) стратегия способна их сломать, пока остается именно *стратегией*, т.е. сознательным, рассчитанным действием. Для меня возможность выхода за пределы туристического пространства была связана с насильственным, не по моей воле, столкновением с Другим – тем, что колеблет мое спокойствие, не поддается интерпретациям, превращает меня из бесплотного дрейфующего взгляда в объект чужого визуального контроля, заставляет вспомнить свою идентичность – но, в конечном счете, помогает реконструировать, по тому, что ощущаешь на собственной шкуре, различия городских пространств. *Встреча с Другим (которой могло и не произойти), бегство от нее, новая попытка приручения Другого* – вот ключевые точки сюжета данной статьи.

¹ Это пространство – возможно, один из результатов процесса, описанного Хайдеггером: «определение сущего происходит в пред-ставлении, которое имеет своей целью поставить перед собой всякое сущее так, чтобы рассчитывающий человек мог обеспечить себя со стороны этого сущего, т.е. удостовериться в нем» (Хайдеггер М. *Время картины мира // Он же. Время и бытие. Статьи и выступления.* М., 1993. С. 48).

Итак, солнечный воскресный день, я – рюкзак, карта, цифровой фотоаппарат, блокнот – выхожу из метро на одноименную площадь «Халклар Дўстлиги» («Дружба народов»).

Вот и отправная точка для прочтения, скажем, политической реальности в знаках города: это советское название новая власть сохранила (в отличие от, скажем, ул. Большевиков или Октябрьского района, которые были переименованы), лишь переведя на государственный (узбекский) язык. Видимо, и интернационализм перешел в новую государственную идеологию; и факт дружбы между народами (уже без «СССР») не обсуждается, даже не провозглашается в лозунге, а – удачный ход – просто включен в топонимику для повторения и усвоения горожанами (рядом еще одно проявление дружбы народов – афиша «Елена Степаненко в Ташкенте»).

На площади передо мною, посередине между двумя магистралями (вдоль которых протянуты высотные дома со сверкающими лозунгами на крышах) – бетонно-мраморный дворец (открытый в 1981 году для проведения съездов, фестивалей, концертов) с тем же названием.



(источник фотографии: www.nu.narod.ru)

Солнце, тишина, асфальт; редкие и упорядоченные деревья и кусты, безводные фонтаны, пустой стадион; ряд общественных зданий (дворец, медресе, Милли Маджлис – национальный парламент).

Первая вольная ассоциация, захватывающая меня и направляющая дальнейший ход мысли – вспоминается Москва, Поклонная гора. Пространство публичное, открытое и торжественное, предназначенное, помимо выступления с речами, возложения венков и культмассовых мероприятий, и для досуга трудящихся, но отчего-то пустынное: редкие прохожие перемещаются короткими перебежками по краям. Следующий шаг – понимание через исторические параллели: я увидел вокруг *пространства ликования* – «метро, парки культуры и отдыха, дворцы культуры, особо украшенные залы, где происходит обряд ликования, поражавший и захватывавший многих путешественников... За обязательным для этих пространств экстатическим оптимизмом скрывается глубочайшая депрессия; по сути

это закамуфлированные траурные обряды, объект которых в то время еще не может быть назван»¹.

Ага! Теперь может – это Советский Союз, ускользнувший от меня, и в детстве, заметая следы своими игрушечными обломками (мультки, мятные жвачки, дедовские пластинки), и сейчас – я опоздал, трагедия кончилась, не слышно ни хора, ни актеров, остались лишь декорации, молчаливые образы его гражданской мощи.

Стоп, стоп – а почему эпитет «советское» так и вертится на моем языке в Ташкенте? Память упорно твердит о своей невинности. Наверное, я насквозь пропитался коллективной российской ностальгией 90-х – иначе откуда эта радостная готовность ассоциировать дешевизну и степенность жизни, лозунги на домах, оптимизм теленовостей и мудрость вождя именно с ушедшей эпохой? Кстати, я не первый гость с Севера, кому Ташкент увиделся социалистической Византией². Но, воскрешая призрак СССР, я рискую опорить слишком многих авторов уже существующего «ташкентского текста» – не столь юных литераторов и разбросанных по всему свету эмигрантов – в чьей ностальгии современный, «националистический», официальный, холодный Ташкент противопоставляется уютному, беззаботному, интернациональному, тёплому городу их советского детства³. И в борьбе за право вспоминать СССР моя надуманная попытка вообразить здесь Большой Стиль (логичнее было бы податься к Туркменбаши!), боюсь, проигрывает их обильным, полнокровным, населенным тысячами живых деталей воспоминаниям.

Но, даже если я приду сюда в правильное время, в Навруз или на День Конституции, и посреди ликующего народа займу свое место на этих трибунах вокруг сверкающей арены с хлопковой звездой, причастность останется недостижимой.

¹ Монастырский А. (составитель). Словарь терминов московской концептуальной школы. М., 1999. С. 72-73 (www.PHILOSOPHY.ru/edu/ref/concept/slovar-m-k-sh.html). Термин принадлежит философу Михаилу Рыклину.

² Например: «Ташкент как будто застыл в середине 70-х, в развитом (или не очень) социализме. Весь в зелени, не город - парк, всюду фонтаны, чистота, ухоженность. На фоне малоэтажных (сейсмичность) домов то тут, то там высятся новехонькие небоскребы банков и гостиниц. На улицах ни единой рекламы. По телевизору – только хорошие новости, поющие девушки-узбечки и мудрый Ислам Каримов. Ничего такого, что будит мысль и печалит взор». // Уварова М. Ташкент как будто застыл в середине 70-х, в развитом (или не очень) социализме. Огонек, 19.12.2002 (www.ferghana.ru/detail.php?id=406801597011121). Потенциал Узбекистана, как территории для терапевтического туризма «Back to the USSR» (для изнуренных «прелестями» капитализма россиян) в 1990-ые годы, видимо, не был реализован в полной мере; сейчас же этот проект по разным причинам представляется не столь актуальным.

³ Вот характерный пример: «Бесспорно, в претенциозном и гламурном Париже есть своя изюминка, отличная от той, что можно разглядеть в родном Ташкенте. Тихом, старом, добром Ташкенте... И дух его не в напыщенно одетых в сталь и стекло зданиях-коробках, а скорее арочные дворы Новомосковской, Щусевский ГАБТ с его идеальными пропорциями, тихая интеллигентность дворишков и скамеечек на Ц1 [название квартала – А.К.], сквер с его вековыми чинарами, и, конечно, незабываемое мороженое в вафельных стаканчиках на Осакинской много лет назад, в моем каникулярном детстве. А стоит проехать пару остановок на подножке 20-го троллейбуса, и ты бросаешься в жерло Старого города, его базаров с громкогласными зазывалами, заказ-сомсой, пышущими жаром лепешками, царским пловом...» (<http://forum.ferghana.ru/viewtopic.php?mode=viewtopic&topic=327&forum=1&start=50>)



Послание этих ритуалов обращено не ко мне, а к членам «воображаемого сообщества» узбек(истан)ской нации – ведь, как известно, новые государственные праздники используются правящими элитами постсоветских республик для сплочения населения в национальную общность, в противовес иным (традиционным) формам лояльности (клану, земляческой группе, семье)¹. Несмотря на всё мое знание кода и понимание сообщения, соблазняют не меня; я исключен, как колониальный цензор из коллективного тела «настоящих» читателей молодого, например, бенгальского романа². Восхищаться возрождением национальной культуры или потешаться над ее помпезностью и безвкусицей – это иностранец может, а «влииться в ряды», «служить Партии», «получить мандат», как в Москве 1920-30-х, – нет.

Зато сейчас пространство подчиняется моим шагам³. Рассматривая все эти знаки власти, я могу играть в структурные аналогии – например, массивное медресе в окружении дворца Дружбы народов 1980-х и Милли маджлиса 1990-х прочитывается как элемент триады «православие-самодержавие-народность» (словно обязательная церковь на Поклонной горе).



¹ См.: Adams L. Invention, institutionalization and renewal in Uzbekistan's national culture // European Journal of Cultural Studies. Vol. 2(3). 1999. P. 364-366.

² Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001. С. 53-55.

³ Когда здесь, на этой сцене, не ставится праздник, различие между мною и местными жителями уменьшается. «Архитектура... обладает опасной возможностью превратить всех нас, местных и приезжих, в *туристов*, лицемерящих стабильные и монументальные образы» (Abbas A. Building on Disappearance: Hong Kong architecture and colonial space // The Cultural Studies Reader. Ed. by S. Doring. L.-N.-Y., 1999. P. 148).

Это медресе Абдуль-Касымшейха, постепенно лишенное своей исторической функции и городского контекста (со сносом, при Советах, бани и мечети, вместе с которыми оно составляло центр квартала Янги махалля), выпотрошенное, отреставрированное, занятое в 1983 г. под Дом пропаганды памятников; сейчас в его кельях мастера делают ювелирные изделия и другие сувениры «под старину». Медресе функционирует как чистый визуальный знак «исламскости» и древности, освящающих свое окружение. С маджлисом, «дружбой народов» и медресе соседствует новый памятник великому узбекскому поэту Алишеру Навои (активно тиражируемый на сайтах и открытках как яркий символ нового Узбекистана/Ташкента) – это не может быть просто совпадением! – столпы государственной идеологии видны как на ладони.

Но мои наблюдения банальны. Слишком уж легко эти массивные знаки выдают свой смысл¹. Возможно, я проникну глубже (в суть этого места/режима), если сфокусируюсь на менее просчитанных вещах. Взгляните на Маджлис – его бирюзовый купол и тонированные «золотые» стекла.



Первый – «сакральное навершие самаркандских и бухарских мечетей, медресе, мавзолеев... еще в семидесятые был профанирован в кафешке “Голубые купола” и одноименных сигаретах; в девяностые этот голубой общепитовский грибок пустил целую грибницу, из которой один за другим напроизрастали монументальные административные грибы с лоснящимися бирюзовыми шляпищами на охристо-ампирных стволах»². А после эпохи голубых куполов, как рассказывали мне, пришло время золотых окон, и вместе это создает не только образ крутой власти, в едином богатом стиле утверждающей себя в городском пространстве³, но и то, что один мой собеседник назвал мафиозностью – «они нас видят, а мы их нет». Нет, возражал я, вы не загоните меня в сеть удручающе «новорусских» ассоциаций! Мы на Востоке, здесь парламент – не суетливая говорильня, но непри-

¹ Но разве *прочитываться* – не главная задача этих объектов? «Монументальность всегда воплощает и навязывает ясную мысль... Монументальные строения скрывают волю к власти и своеволие власти под знаками и плоскостями, которые претендуют на то, что они выражают волю народа и коллективный разум» (Lefebvre H. Production of Space. Oxford, 1991. P. 143)

² Абдуллаев Е. Закон сохранения (заметки о «Ташколе») // Малый шелковый путь. Выпуск четвертый. Т., 2003. С. 147.

³ Мне говорили: «Деньги в городе есть, если есть такие здания».

ступный замок на озере, окруженный тишиной. Ср.: «[Османская] государственная мысль высоко ценила спокойствие процветания (*prosperous quietude*), воплощенное в молчании подданных, входящих во дворец Топкапы»¹.

Борьба ассоциаций, борьба за «Восток»; не слишком успешная, ибо места власти в Ташкенте бросались в глаза или фасадами *a la* Счетная палата РФ, или советской повседневностью учреждений (за пятнадцать лет сохранивших в неприкосновенности, как минимум, свои вывески и интерьеры). Но «Восток» обнаруживался в деталях – и я говорю не только о повсеместных ориентальных стилизациях в городской архитектуре.

...Вспоминается районный ОВИР: дерматиновые кресла, флуоресцентные лампы, сине-белые стеклянные таблички и озабоченные просители – его осеняет красочный, в полный рост портрет Улугбека (его именем назван район) – внука Тамерлана, сына Шахруха, правителя Самарканда, покровителя искусств, поэта, астронома, автора «Новых Гурганских таблиц» и прочая и прочая (живая связь с изученной долгими зимними ночами историей региона!). Или вывеска «Ўзбеккоммуналлоийха» – арабское слово («проект»), проскочившее сквозь мясорубку советской аббревиации и терминологической русификации. А прозаический собес здесь именуется «Ижтимоий таъминот бўлими» (отдел социального обеспечения) – пускай это педантичная калька с русского канцелярита, но, стоит настроиться на иной контекст (слово «ижтимоий», социальный, одного корня – جمع – с *مجتمع* муджтама' – общество и *جامع* джа'ми – мечеть) – и сквозь пыльное стекло сверкнет вековая арабо-персидская (бюрократическая) традиция! Для местных жителей подобные знаки могут сигнализировать о возвращении «средневековья», откат от (европейского/советского) модерна к более грубым и примитивным моделям социального и политического устройства (что, в общем-то, не совсем далеко от истины) – и меня, залетного гостя, можно обвинить в зачарованности собственными ориенталистскими фантазиями. Но я прошу дать моему тексту (как было позволено, тогда, моему телу) право на маленькую игру эфемерными, случайными, забавными знаками; игру, свободную от необходимости развиваться в солидность экспертных суждений или власть научных утверждений – свободную от ограничений как этого места, так и (но в меньшей степени) Москвы.

Как бы то ни было, пока местный режим не настолько тоталитарен, чтобы контролировать мои перемещения; чтобы читатели ожидали от меня, вернувшегося *оттуда*, глобального вердикта; чтобы я переживал трепет или восторг в его святилищах. Всевидящее око государства могло бы воплотиться в милиционерах, но и те были не вездесущи: приближались и удалялись, проходили мимо, шли по своим делам – я слышал звук их шагов издали и просто на пару минут прятал фотоаппарат в карман.

Вот почему я мог спокойно упражняться в интерпретациях, фотографировать большие и беззащитные знаки, разбросанные по гулким просторам, а потом, когда и деревья пошли, и вода, и люди – посидеть-отдохнуть в парке у озера²...

Я вышел из парка, пересек широкую магистраль проспекта Дружбы народов и, через проем между девятиэтажными домами, которые сразу показались мне высокими стенами, попал в иное пространство. Погрешу против истины, если скажу, что ощущение пересече-

¹ *Murphy P.* The Seven Pillars of Nationalism // *Diaspora*. Vol. 7. #3. Winter 1998. P. 373.

² Парк назван в честь Алишера Навои, а озеро было вырыто комсомольцами в 1939 г. за 45 дней. Но тогда я этого не знал.

ния границы родилось лишь из визуально-аудиального контраста между железобетоном, прямыми линиями, шумом машин за моей спиной, и щебетанием птиц, шелестом все еще зеленой листвы побеленных чинар и низенькими домиками впереди.



В тот момент я уже знал об историческом делении Ташкента на Старый город (средневековый) и Новый, основанный в 1865 г. после присоединения края к России. Такая структура характерна для городов колониального типа (португальских, британских и пр.): «европейская» часть с четкой планировкой, широкими прямыми улицами, концентрацией военных и административных учреждений, призванная показывать наглядный пример западного порядка и рациональности на фоне «туземной» части, с ее запутанными пыльными улочками, глинобитными домиками, базарами, грязью и перенаселенностью¹.



(Ташкент: старый и новый город. XIX в.

Источник: www.tashkent.freenet.uz)

Но еще в XIX веке это идеально-тотальное (территориальное, этническое, политическое, экономическое, культурное) различие начало размываться. К ужасу имперских ревнителей чистоты, «туземцы» модернизировались и начали претендовать на ведущие роли в торговле и товарном земледелии, а массы неквалифицированных трудовых мигрантов из

¹ О этом типе города см., например,: Харитонов В. М. Колониальный город // География. Ежегодное приложение к газете «Первое сентября». № 6 (195-196). Декабрь 1996. С. 10–11; Çelik Z. Urban Forms and Colonial Confrontation: Algiers under French Rule. Berkeley, CA, 1997; Nas P. The Colonial City. Leiden, 1997 (http://www.leidenuniv.nl/fsw/nas/pub_ColonialCity.htm).

Центральной России своими трущобами роняли достоинство белого города¹. Советская власть стремилась вовсе избавить город от этого разделения как от тяжелого дореволюционного наследия. «С каждым годом все больше стирается во внешнем облике узбекской столицы разница между “старым” и “новым” городом, всё явственнее проступают очертания единого социалистического Ташкента – города монументальных ансамблей, воды, зелени и солнца»².

Новая советская архитектура стала «третьей силой», противостоящей как восточной, так и русской одноэтажной старине; как «Тебризу», так и «Тамбову». Перестройке/перемешиванию города «помогло» и землетрясение 1966 г., и в итоге упомянутые различия хотя и не исчезли, но утратили четкую географическую привязку и перешли на уровень отдельных кварталов, домов, рынков, мест отдыха, повседневных интеракций³.

И вот, изучив карту, я решил завернуть в махаллю (традиционный квартал) Камалан, чтобы после памятников современного Узбекистана полюбоваться на кусочек Старого города; возможно, найти там фотогеничные картинки экзотики или старины (кладбище). Углубляясь в махаллю, я уже подготовил камеру... Стоп. Что-то не то. Воздух вокруг словно загустевает. Потюю. Рука с фотоаппаратом цепенеет в кармане. Постоянно ощущаю на себе чей-то взгляд. Удивленный? Изучающий? Вопрошающий? Всюду люди – мамы с детьми, гуляющие юноши, старики восседают перед домом... Но я ничего не могу снять – кто-то обязательно попадет в кадр. Исподтишка, по-шпионски тоже невозможно – на меня смотрят. Почему? Кто я для них? Кто я?

Первое – я *белый*. Впервые в жизни ощутил себя (единственным) в этой роли (всё вместе – цвет кожи, этничность, язык). До этого Москва и Ташкент не слишком сильно различались – там и там можно услышать узбекскую речь в метро и на рынке. Но в России полиэтничность и многоязычие можно не видеть, бессознательно игнорировать⁴ или, с любопытством посматривать на тюрбаны и смуглые лица, радоваться многоцветию города – здесь, в махалле, оно распалось на отдельные краски.

Второе – я не могу спрятаться в туриста. Фотоаппарат – при его виде (что-то мне снять удалось) никто не сбегается и не кланяется бакшиш, или, как знакомому американцу, не позируют спокойно, чтобы потом подойти и степенно сказать «Мистер, доллар». Место тоже имеет значение: фигура фотографирующего туриста в Ташкенте менее привычна, чем в Бухаре или Самарканде, а в этом районе нет даже достопримечательностей, памятников (как на «Дружбе народов»). Если ты не вписываешься в такой беспроblemный стереотип и в рутину чужой повседневности, то к тебе могут возникнуть вопросы – что вы тут делаете? почему снимаете? – дабы, прояснив мой статус, нормализовать ситуацию. Открыться («иностранец, исследователь») нельзя – бумажки нету, разрешения (ни журналистского, ни от Союза художников, что я должен иметь, чтобы что-либо снимать. Государственная безопасность. Терроризм и шпионаж. Учет и контроль. И не отбрехнешься:

¹ См.: Сахадео Д. «Долой прогресс»: в поисках цивилизации в русском Ташкенте, 1905-1914 // Культуры городов Российской империи на рубеже XIX-XX веков. СПб, 2004.

² Виткович В. Путешествие по Советскому Узбекистану. М., 1953. С. 32.

³ Наиболее приемлемой формулировкой из бытующих в городе мне представляется оппозиция «европейское» vs «национальное» (этими словами обозначаются, скажем, два потока в университете – русско- / узбекоязычный соответственно – или две кухни: *evgora/milliy taomlari*).

⁴ Как в «Чуме» Камю, где арабы упоминаются полтора раза – Оран, *алжирский* город.

«Sorry, I don't understand» – паспорт меня выдаст. Такие мысли лихорадочно перекатывались, чередуясь с ощущениями то «страшно», то «неудобно».

Но *события* – конфликта, допроса, ареста, приключения – не произошло; я продолжал передвигаться, скользить по поверхности. Наверное, ближе всего я был к позиции «ташкентского русского». Одного из тех, кто говорил мне «Старый город? Мы туда не ходим. А зачем?», но не рассказывал мне никаких историй, могущих пробудить во мне эстетическое чувство опасности/соблазна¹. Потом выяснилось, что всё-таки ходят – но не гуляют, не фотографируют и не глазеют по сторонам – примерно так и я старался себя вести, чтобы не слишком высовываться из этой торопливо придуманной для собственного успокоения маски.

А вокруг тем временем подъезжали машины, мужчины обнимались, распахивались двери во внутренние дворы домов, старики в нарядных халатах и юноши в костюмах с галстуками рассаживались на скамеечках у ворот – чувствовалась какая-то праздничность (точно! ведь сегодня же Рамазон хайит, день окончания поста!) – праздничность, но без той демонстративности, театральности костюмов, церемоний и увеселений, что Готье и де Нерваль живописали в Стамбуле XIX в.². Передавались сообщения, разворачивались события – но не со мной и не для меня. Мой сюжет тянулся *состоянием*: мне оставалось лишь рефлексировать по поводу собственной чуждости.

Может быть, я попал в «категорию людей, определяемой как раз их *неопределенностью*: не друг и не враг, не сосед и не чужак»³ – *посторонний*? Интрига в том, что данное понятие используется для описания универсального состояния обитателя современного (modern) города – а в этот день переживание неопределенности, казалось, занимало меня одного. Мы все – посторонние, на улицах Нью-Йорка, Москвы и Ташкента, как рыбы в воде анонимности повседневных контактов; но здесь, столкнувшись с *несколько иным* ходом городской жизни, я словно заново открыл для себя фрагментарность и призрачность современного мегаполиса. Ташкентская махалля казалась достаточно модернизированной,

¹ О том, что будут приставать/ограбят/убьют; или о запретных удовольствиях – гашише и туземках. Ср.: «Инакость “чайнатауна” [квартала бедных, населенного преимущественно нелегальными иммигрантами из соседних республик – *А.К.*] Ла Боки [большой район Буэнос-Айреса – *А.К.*] проговаривается в нарративах представителей среднего класса... Подруга Сюзаны нарушает границы, игнорирует классовые и гендерные предписания, предупреждения об опасности и, настаивает Сюзана, рано или поздно спровоцирует Другого, одного из тех диких мужиков, на что-то нехорошее. Напротив, “голая баба”, которую упоминал Хосе Луис – это ориентальный Другой мужчин среднего класса» (*Guano E A Stroll through la Boca: The Politics and Poetics of Spatial Experience in a Buenos Aires Neighborhood // Space & Culture. Vol. 6. # 4 (November 2003). P. 368*)

² «Весь этот день посвящается молитвам, посещениям мечетей, а вечером устраивается иллюминация. Если уже днем, в сверкании восточного солнца, расцвеченный флагами порт являл восхитительную картину, то как описать ночное празднество? Тут-то и чувствуешь бессилие пера и кисти. Пожалуй, только диорама с ее световыми чудесами могла бы дать отдаленное представление об этих волшебных эффектах. То там, то здесь непрерывно раздаются пушечные выстрелы (турки обожают пальбу) и оглушают гуляющих веселым грохотом. Минареты вспыхивают как маяки, изречения из Корана горят огненными буквами на фоне темно-синего неба, а густая, пестрая толпа спускается, делясь на человеческие ручейки, по улицам Галаты и Перы. Вокруг фонтана в Топхане мерцают, будто светлячки, сотни огней, и мечеть султана Махмуда уходит ввысь сверкающим пунктиром, подобно высвеченным на черной бумаге дворцам из театра Серафена». (*Готье Т. Указ. соч. С. 212*).

³ *Кларк Д. Б. Потребление и город, современность и постсовременность // Логос. № 3-4 (34). 2002. С. 43*)

чтобы не держать свои ворота запертыми и не волочь чужака-иностранца стражниками к эмиру, но недостаточно открытой, чтобы представляться привычным «миром посторонних и для посторонних»¹ – и я чувствовал, как скольжу по ней подобно ножу мясника из притчи Чжуан-цзы, проходящему в туше быка без единой капли крови, по сочленениям пустоты.

Впрочем, если черпать из того же репертуара современных мужских ролей, я и не фланёр – праздношатающийся наблюдатель, превращающий город в эстетическое пространство визуальной игры² – я был близок к этой роли среди монументов новой государственности, но здесь подрастерял ироничность, самоконтроль, самоуверенность взгляда. Не антрополог – мастер общения, постоянством добивающийся герменевтического проникновения в изучаемую культуру, но и не турист, вокруг которого разыгрывают хорошо поставленный спектакль загадочного, соблазнительного и пр. Востока³ То есть: *мой взгляд не проникает вовнутрь (слаб и рассеян), но и не скользит удовлетворенно по изящной поверхности – он отражается и направляется на меня самого.*

И так мое тело влачило, в бесцельности смятения, пока на мобильник, очень удачно, не позвонили и не назначили встречу; шаг обрел деловитость и четкое направление движения (к метро). Я пришел в себя, только оказавшись в привычном пространстве повседневности, зайдя в минимаркет, расположенный с внешней стороны пограничной девятиэтажки – то ли защищающей, то ли маскирующей пространство, из которого я сбежал, и которое так и осталось для меня непознанным и чуждым⁴.

Однако своим отступлением я остался недоволен и в следующее воскресенье решил повторить попытку понять Старый город. Праздник уже закончился, людей на улицах стало меньше, и те спешили по своим делам.

Обходя махаллю улица за улицей, периодически утыкаясь носом в карту (поработать на образ безобидного туриста мне показалось не лишним), за оглушительным стуком в грудной клетке, я наконец расслышал:

¹ Кларк Д. Б. Указ. соч. С. 45.

² См., например: Wilson E. The Invisible Flaneur // Postmodern Cities and Spaces. Ed. by S. Watson and K. Gibson. Oxford, 1995. P. 59–79.

³ О фигуре туриста в данном смысле см.: Марков Б. Путешествие как признание другого // Путь Востока. Межкультурная коммуникация. СПб, 2003. С. 187–188 (http://anthropology.ru/ru/texts/markov/east06_28.html); Гройс Б. Город в эпоху его туристической воспроизводимости // Неприкосновенный запас. № 4(30) (<http://magazines.russ.ru/nz/2003/4/grois.html>).

⁴ У моих переживаний наверняка есть точки пересечения с опытом одноязычных мне ташкентцев. Но у них есть (были?) годы повседневности на его приручение и преодоление. «Сразу за нашей кирпичной четырехэтажкой начиналась махалля. Там жили “узбеки”, с которыми мы, “русские” мальчишки, дружно воевали. Я, будучи сам наполовину узбеком, ходил в русскую школу. А других, собственно, почти и не было – одна туземная на десять русских. <...> Махаллю мы побаивались. В той стороне, куда выходили окна спален, начиналось Неведомое. Махаллинцы жили иначе, нежели обитатели имперских многоэтажек (когда интенсивно разрушали Старый город, а его жителями заселяли Юнусабад и Себзар, те даже в бетонных коробах продолжали жить раз и навсегда утрамбованным укладом: разводили на балконе кур, строили во дворе топчаны, позже создавали махаллинские комитеты...). Их мир был щедро распахнут, как ворота их домов, очевиден, как обстановка внутренних дворишков, – и все-таки он оставался загадочен, скрыт, непроницаем» (Янышев С. Ташкент как зеркало неверного меня... // Альманах «Малый шелковый путь». Выпуск 2. (<http://xonatlas.uz/library/1.doc>))

крик петуха;
мычание коровы, привязанной к дереву;
шелест сухих листьев под веником – невестка метёт двор;
звонок велосипеда – мальчик везет на голове горячие лепешки;
музыку – где-то рядом дули в дудки и били в бубен.



Мир обрел прозрачность, глубину и звучность. Открылась «самая невзрачность улиц – темных, неприбранных, отсутствие желтых и светленьких красок на домах, идиллия среди города: отдохавшее стадо козлов на уличной мостовой, крики ребятишек и какое-то невидимое присутствие над всеми ясной, торжественной тишины, обнимавшей человека»¹. Я словно оказался в *средневековом городе*, с его человеческим масштабом зданий, естественной публичностью жизни, пестротой впечатлений без взрывного переизбытка раздражителей – но здесь, в отличие от Брюгге или Равенны², *историческое* создается не сбереженными или отреставрированными камнями, а *образом* жизни; а также – поверх домиков и деревьев, плывущих в солнечной дымке – крепким ядрышком мечети (из ее двора на моих глазах расходился народ)³.

И дальше – то величественным особняком в тесном переулке, то внезапной обнаженностью застекленной лоджии среди глухих стен; петербургским эркером, мавритан-

¹ Гоголь Н. В. Рим (отрывок) // Собрание сочинений. Т. 2. М., 1952. С. 164.

² Где я был бы одиноким варваром-потребителем главного европейского товара (истории), но не первооткрывателем рифмы, как здесь.

³ Ср., например: «церковь была не только очагом духовной жизни общины, но и местом общения. Там проходили собрания, туда колокола созывали жителей в случае опасности... там вели беседы, проводили игры, совершали сделки. И несмотря на все усилия духовенства и соборов, направленные на то, чтобы превратить церковь только в дом Бога, она оставалась социальным центром с многоплановыми функциями, вполне сравнимым с мусульманской мечетью» (Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. С. 290). Впрочем, правильного западного центра (ратуша–собор–рынок) мне явлено не было. Политическое, с его форумами и цирками, осталось за стенами (см. первую часть); супермаркетов и даже серьезных продуктовых магазинов в махалле мне также не удалось обнаружить – видимо, за продуктами жители ездят (в своих Жигулях и Daewoo) на большие городские базары.

скими башенками в аистовых гнездах спутниковых тарелок, коваными чугунными решетками, викторианским молоточком на двери, бюргерской черепицей крыш, салатными листиками или розовыми лепестками стен, облюбованных жуками-кондиционерами – историческое сигнализировало о себе, подмигивало, переходя на привычные знаки, на lingua franca постсоветского рынка элитной жилой недвижимости, ее стилей и стройматериалов.



Но по ходу абстракция мягко сменяется реальностью: потянуло пряностями из лавок, аппетитным запахом лепешек повеяло со дворов... привыкнув к языку города, я уже предвкушал события его речи – интригующие встречи, непредсказуемые приключения... И не обманулся: из кабины обогнавшей меня машины донеслась песня Таркана «Dudu» – страсть, Стамбул, роковая чувственность! встреча двух Востоков! западный ритм! тюркское единство! От восторга я не стесняюсь запел вполголоса – *Ааламадан айрылык олмаз, хатыралар юсю дурмаз!..* – и, стараясь не утратить растравленной чувствительности к окружающему, поспешил «на выход», чтобы скорее вкусить самое острое ощущение – границу, переход, смену эпох – от феодализма к капитализму (сверкающий небоскреб), минуя социализм (пятиэтажки, теплый бетон, лавочка у подъезда).

